УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)52

СЮЖЕТ ДУХОВНОЙ «ИНИЦИАЦИИ» ГЕРОЕВ В РОМАНЕ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

© 2019 г. В.Ю. Даренский

Луганский национальный университет

им. Т. Шевченко,

Луганск, Украина (ЛНР)

Дата поступления статьи: 26 августа 2018 г.

Дата публикации: 25 марта 2019 г.

DOI: 10.22455/2500-4247-2019-4-1-214-235

Аннотация: В статье проведен анализ судеб героев романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в рамках модели радикальной личностной трансформации, которая обозначается термином «инициация» или метафорой «второго рождения». Интерпретация образной системы «Евгения Онегина» в рамках этого подхода позволяет концептуализировать универсальный, не зависящий от интересов и мировоззрения читателя принцип воздействия этого произведения на его сознание и миропонимание. Выделен ряд ключевых и наиболее характерных примеров личностных трансформаций основных героев романа. Предложенная интерпретация помещена в общий контекст специфики русской культуры как «культуры преображения», главная интенция которой состоит не в частном самоутверждении человека, а его преображении в устремленности к идеалу. Парадоксальность концовки романа, совершенно не характерная для этого жанра, объясняется авторской интенцией на преображение, «второе рождение» героя, что содержательно сближает его с концовкой «Преступления и наказания». Предложена типология персонажей романа, построенная в соответствии с их отношением к интенции преображения («инициации») как в ее удавшемся, так и неудавшемся вариантах. Выделены содержательные признаки преображения («инициации») героев как в романе, так и в собственной судьбе и творчестве А.С. Пушкина в целом.

Ключевые слова: А.С. Пушкин, «Евгений Онегин», «инициация», преображение, герой, сюжет.

Информация об авторе: Виталий Юрьевич Даренский — доктор философских наук, доцент, Луганский национальный университет им. Т. Шевченко; ул. Оборонная, 2А, 91011 г. Луганск, Украина (ЛНР).

E-mail: darenskiy1972@mail.ru

Для цитирования: Даренский В.Ю. Сюжет духовной «инициации» героев в романе «Евгений Онегин» // Studia Litterarum. 2019. Т. 4, № 1. С. 214–235.

DOI: 10.22455/2500-4247-2019-4-1-214-235

THE PLOT OF SPIRITUAL “INITIATION” IN *EUGENE ONEGIN*

This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

© 2019. V.J. Darensky
*T. Shevchenko Lugansk National University,
Lugansk, Ukraine*
Received: August 26, 2018
Date of publication: March 25, 2019

Abstract: The article analyzes the fate of the characters in Pushkin’s novel in verse *Eugene Onegin* within the framework of such model of radical personal transformation as “initiation” or “second birth”. Reading *Eugene Onegin* in the outlined perspective allows me to conceptualize the effect of the novel on the reader, her consciousness and mindset that is not necessarily contingent on the reader’s own cultural background. The novel highlights a number of key examples of personal transformations that the novel’s main characters undergo. The novel’s interpretation considers a broader context of Russian culture that is often regarded as a “culture of transformation,” e.g. as aimed not at the person’s individual self-assertion but on his or her transformation in the attempt to correspond to the abstract ideal. The paradoxical ending of the novel, not typical for the genre, reflects the author’s intention to transform his main character into a new person and may be better understood if read via the prism of *Crime and Punishment* and its final. The essay outlines a typology of the novel’s characters, structured around their intention to have spiritual transformation (“initiation”), either successful or failed. It also expands the fictional framework of the novel and analyzes the role of transformation in Pushkin’s life and work in general.

Keywords: Pushkin, *Eugene Onegin*, “initiation”, transformation, character, plot.

Information about the author: Vitaly J. Darensky, PhD in Philosophy, T. Shevchenko Lugansk National University, Oboronnaja 2 a, Lugansk 91011, Ukraine.

E-mail: darenskiy1972@mail.ru

For citation: Darensky V.J. The Plot of Spiritual “Initiation” in *Eugene Onegin*. *Studia Litterarum*, 2019, vol. 4, no 1, pp. 214–235. (In Russ.)

DOI: 10.22455/2500-4247-2019-4-1-214-235

*Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя...*

«Евгений Онегин»

*Роман движется в глубины души неподвиж-
ного героя — туда, где может забрезжить
свет надежды на возрождение, выздоровле-
ние этой души.*

В. Непомнящий

Финальное событие сюжета «Евгения Онегина» не только часто кажется странным для обычного читательского восприятия, но и вообще является необычным для романного жанра. Когда А.С. Пушкин писал о большой «разнице» между «Евгением Онегиным» и обычным романом, то это касалось отнюдь не только его стихотворной формы. Обычный роман и повесть тоже могут заканчиваться ситуацией неопределенности и даже специально акцентировать ее, но тем не менее в них всегда присутствует замкнутость внутреннего сюжета. В «Евгении Онегине» же, наоборот, внутренний сюжет выглядит лишь как завязка и случайное пересечение судеб, которые должны иметь самое важное продолжение, которого в самом романе нет. И финальная сцена с «как громом пораженным» Евгением — это не только факт его личной судьбы, но и вообще самый концентрированный символ того, что происходит в романе, ведь почти все его основные герои здесь проходят свое «поражение громом», которое принципиально меняют их личность и судьбу¹.

¹ Образ «грома», преобразующего героев романа, был глубоко исследован в работе Ю.Н. Чумакова [16].

То, что происходит с героями и с читателем при адекватном восприятии и переживании таких произведений, является аналогом обряда «инициации», имевшего место во всех архаических обществах (от лат. *initiatio* — посвящение). Как известно, в этих обрядах человек в юношеском возрасте проходил ряд тяжелых испытаний, к которым готовился заранее, после которых официально принимался в число взрослых членов сообщества. В процессе обряда инициации происходила трансформация сознания человека не только посредством сильных переживаний, но и путем сообщения ему тайных эзотерических знаний. Все это приводило к трансформации личности во взрослое состояние. В современной цивилизации обрядов инициации нет, но их роль призваны выполнять другие культурные формы, в том числе и художественная литература.

Этим определяется и необходимость анализа многих литературных произведений в особом аспекте, связанном с их глубинной экзистенциальной функцией — как *инициационных* текстов, т. е. порождающих духовную инициацию в читателе за счет предельно концентрированной передачи опыта жизни на грани смерти, как символического «прохождения через смерть» и «второго рождения». Как общекультурный символ «инициация» обозначает особый экзистенциальный опыт символического прохождения через смерть, испытания смертью, после которого человек приобретает особый опыт, позволяющий смотреть на жизнь и оценивать ее как бы со стороны, «с точки зрения вечности». Следует также специально подчеркнуть, что в данном универсальном смысле «инициация» стала научным термином, который уже никак не связан ни с язычеством, ни с первобытной культурой, но обозначает универсальный феномен экзистенциальной трансформации, имеющей место у людей всех без исключения культур, хотя и не является для них обязательным. Символическое «прохождение через смерть» как духовная «инициация», символически именуемая «вторым рождением», делает человека другим, радикально трансформируя его личность. Хотя модель «инициации» иногда ситуативно и отмечается некоторыми авторами при анализе отдельных произведений, однако теоретически этот факт до сих пор не был четко концептуализирован. Такая концептуализация была начата В.Я. Проппом в его теории сказки; в частности, он писал: «...цикл инициации — древнейшая основа сказки... Другим циклом... является цикл представлений о смерти» [11, с. 308]. Но на самом деле это один и тот же

цикл, поскольку «инициация» и является символическим «прохождением через смерть». Сказка — это древнейший вид литературного творчества, и все более поздние виды в «снятом» виде сохраняют в себе ее смысловую структуру, в том числе и модель «инициации».

Целью данной статьи является анализ судеб героев романа в рамках модели радикальной личностной трансформации, которая традиционно обозначается термином «инициация» или метафорой «второго рождения». Общие теоретико-методологические принципы такого анализа нами были кратко обоснованы в отдельной статье [3]. В данной статье предпринимается попытка интерпретации образной системы «Евгения Онегина» в рамках этого подхода.

В качестве прецедента такого подхода следует в первую очередь называть Пушкинскую речь Ф. Достоевского, статью А. Платонова «Пушкин и Горький», работы В. Непомнящего и И.З. Сурат. Ф. Достоевский выделил в качестве нравственной кульминации романа самопожертвование Татьяны Лариной и жизненный тупик Онегина, требующий от него радикального преобразования всей его жизни, тем самым рождая тип «русского скитальца». Среди других важных прецедентов «инициационного» подхода к истолкованию образно-сюжетной системы «Евгения Онегина» имеет ценность упомянутая статья А. Платонова, в которой великий писатель прежде всего сформулировал *преображающий* характер художественного и нравственного мира, созданного Пушкиным: «Пушкин угадал и поэтически выразил “тайну” народа... массы людей, ступенчатые фантазматическим, обманчивым покровом истории, то таинственное, безмолвное большинство человечества, которое терпеливо и серьезно исполняет свое существование, — все эти люди, оказывается, обнаруживают способность бесконечного жизненного развития» [10, с. 368]. И в рамках этого общего понимания пушкинского мира становится ясной и внутренняя «тайна» романа: «Не разрушая своей любви к Онегину, даже не борясь с нею, не проявляя никакого неистовства, несколькими нежными, спокойными, простосердечными словами Татьяна Ларина изымает свою любовь из-под власти судьбы и бедствий (уже хорошо знакомых ей), даже из-под власти любимого человека. Чувство Татьяны очеловечивается, облагораживается до мыслимого предела, до нетленности, — она, Татьяна, походит здесь на одно таинственное существо из старой сказки, которое всю жизнь ползало

по земле и ему перебили ноги, чтобы это существо погибло, — тогда оно нашло в себе крылья и взлетело над тем низким местом, где ему предназначалась смерть» [10, с. 369]. Трудно найти более яркий образ преображения и «второго рождения» человека, чем тот, который предложен А. Платоновым. Очевидно, что новая интерпретация «Евгения Онегина», как и всего творчества Пушкина в целом, исходящая из такого понимания, является насущной для нашего времени.

Среди крайне разнообразных подходов к анализу, истолкованию и исследованию смысловых контекстов романа «Евгений Онегин» можно выделить четыре типа. Первый носит более прикладной характер и связан с анализом языка романа, его художественных средств, а также культурно-исторических контекстов той «картины мира», которая в нем создана поэтом. Классическим примером комплексного исследования этого типа является системный комментарий к роману, созданный Ю. Лотманом. Второй тип исследований сводится к социальной интерпретации образов романа. Этот тип был создан самым первым его системным истолкователем — В.Г. Белинским. Однако для В.Г. Белинского сами социальные отношения и типы героев имели не идеологический, а в первую очередь нравственный смысл. Поэтому данный подход, безусловно, сохраняет свою актуальность и в наше время. Третий тип можно назвать «идеологическим» в широком смысле слова — суть его состоит в интерпретации романа в рамках заранее заданной идеологической доктрины, текст романа используется для ее иллюстрации и обоснования. Таковы в первую очередь марксистский, психоаналитический и гендерный подходы.

Четвертый подход имеет мировоззренческую и «персонологическую» направленность. Здесь целью является понимание «тайны» художественного «послания», которое оставил Пушкин в этом романе, — того, что сохраняет свою ценность во все времена, становясь все более и более насущным. Этот подход к интерпретации романа был создан И. Киреевским и А. Григорьевым и основан на анализе в категориях христианского миропонимания. «Знаковой» для этого подхода стала знаменитая Пушкинская речь Ф. Достоевского. Данный подход затем был продолжен представителями русской религиозной философии, а в конце XX в. он был ярко возрожден в работах известного пушкиниста В. Непомнящего. Новейшим примером реализации такого подхода является статья И.З. Сурат

«И новый человек ты будешь...», в которой специально исследована «тема перерождения человека», первый опыт которой Пушкин переживает еще в хрестоматийном стихотворении «К***» («Я помню чудное мгновение...») — уже там, как отметила исследователь, «в этом описании смерти при жизни, данном в самой безыскусной поэтической форме, проявилась глубокая онтологическая интуиция Пушкина» [14, с. 155]. Эта интуиция еще более полно и ярко была реализована в «Евгении Онегине», и хотя «в этой грозовой вселенской вспышке, растянувшейся на весь роман, родился новый Онегин», однако в романе преображение героя осталось незавершенным, и при этом «по-настоящему нового человека мы у Пушкина так нигде и не видим — как правило, поэт оставляет своих героев на пороге перемен» [14, с. 164].

Интерпретация образной системы «Евгения Онегина» в рамках этого подхода позволяет концептуализировать универсальный, т. е. не зависящий от интересов и мировоззрения читателя принцип воздействия этого произведения на его сознание и миропонимание. В. Непомнящий в своей характеристике, частично вынесенной в эпиграф статьи, писал: «Роман движется в глубины души неподвижного героя — туда, где может забрезжить свет надежды на возрождение, выздоровление этой души — и останавливается в момент, когда “Стоит Евгений, / Как будто громом поражен”» [8, с. 283]. Отказ «любящей его Татьяны показал ему, что существуют — не в мечтах, но в действительности — иные ценности, иная жизнь и иная любовь, чем те, к каким он привык, — и стало быть, не все в жизни потеряно и можно “верить мира совершенству”» [8, с. 284].

Этот автор также специально отмечает, что «тема смерти, мертвизны сопровождает затем героя на всем протяжении первой главы в виде разработки и модуляций (безличность, автоматизм жизни, подчиненной механизму часов, антипоэтичность). Мертвизна трансформируется...» [8, с. 279]. А Ю. Лотман обнаруживает ту же самую тенденцию как одну из главных доминант всего творчества Пушкина в целом: «...и в истории, как и в более глубоких пластах человеческой жизни, Пушкин видит мертвящие тенденции, находящиеся в борении с живыми, человеческими, полными страсти и трепета силами. Поэтому тема застывания, затормаживания, окаменения или превращения человека в бездушную вещь, страшную своим движением еще больше, чем неподвижностью, соседствует у него с оживанием, одухот-

ворением, победой страсти и жизни над неподвижностью и смертью» [4, с. 146]. В свою очередь А. Слонимский очень точно отметил, что «Онегин в действии романа занимает пассивное положение: *ему* объясняется в любви Татьяна, *его* вызывает на дуэль Ленский, но собственной инициативы почти не видеть... Почему, например, Онегин стрелял первый, не выждав даже выстрела Ленского? Трусость, инстинкт самосохранения, как толковал Писарев? Нет, следствие беспечности, равнодушия, усвоенной им с ранних лет светской автоматики» [13, с. 323].

«Мертвенное» состояние, из которого герой ищет выход, — как первичная предпосылка «инициации», «второго рождения» героя — еще более углубляется позже, в период его путешествия после всех перипетий, связанных со встречами с Татьяной и убийством Ленского. В обрывочных фрагментах этого путешествия мы находим очень яркие и показательные строфы — признания героя, в которых он предпочитает смертельную болезнью той жизни, которую он ведет:

Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? — ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? тоска, тоска!..

Таким образом, очевидно, что первичная предпосылка «инициации» или «второго рождения» героя — его «мертвенное» состояние, из которого он изо всех сил ищет выход, задано всей структурой пушкинского мира, а в «Онегине» лишь находит свое самое полное сюжетно-образное завершение. Первая глава романа создает такое напряженное переживание усталости от жизни и тщеты бытия, свойственное главному герою, столь мощно захватывающее читателя, что становится внушением, в какой-то степени передается и ему. Наблюдения показывают, что это мироощущение Онегина в какой-то момент, как внушение, захватывает и школьников, впервые читающих роман. А для более взрослых людей он может становиться и более длительным внутренним со-переживанием, создаваемым силой поэтического слова. Этот опыт вообще чрезвычайно ценен для современного

человека, которого «цивилизация потребления» приучает скользить по поверхности жизни, не думая о ее конечном смысле.

Сам Пушкин, как известно из некоторых стихотворений, особенно из «Дар напрасный, дар случайный...», временами очень остро переживал именно это «онегинское» мироощущение, т. е. оно передано герою из самого глубокого жизненного опыта поэта. Но не менее важно и то внутреннее преображение поэта, которое произошло в его поэтическом диалоге со святителем Филаретом Московским, который возник по поводу этого стихотворения. Когда святитель ответил Пушкину своими строками «Не напрасно, не случайно / Жизнь от Бога мне дана...», поэт ответил ему стихотворением, уже прямо противоположным по смыслу и мироощущению, три последние строфы которого таковы:

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.

В другой редакции последняя строфа выглядит так:

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Первое стихотворение Пушкина помечено днем рождения поэта 26 мая 1828 г. (т. е. как некий итог жизни), а ответ святителю — 19 января 1830 г. Как видим, между ними прошло более полутора лет, т. е. второе стихотворение — это не минутный порыв, а «выношенное» в душе новое ощущение жизни. И 1830 г., во многом переломный в жизни и творчестве поэта, очевидно, и был задан той глубокой душевной трансформацией, которая произошла перед этим.

Обычно второе стихотворение трактуется как свидетельство прихода поэта к религиозному мировоззрению, и это действительно так. Однако здесь очень ярко отражен и момент более общего характера — не конкретное мировоззрение, а именно *трансформация души*, которая и соответствует понятию духовной инициации, возрождения от духовной смерти к духовной жизни. И именно в этот же период поэт завершает свой роман, т. е. духовная трансформация поэта и его героя происходят синхронно. Точнее, у Онегина она еще не происходит явным образом, но странное сюжетное завершение романа именно таково, что не оставляет ему иного выбора. Но почему же Пушкин не показал это духовное преображение явным образом, непосредственно в сюжете? Естественно, точно это знал только он сам, но мы имеем возможность ответить на этот вопрос, исходя, во-первых, из понимания природы духовного преображения личности, во-вторых, из самой логики сюжета и предшествующей жизни героя.

В первом аспекте важно то, что «инициация» никогда не «гарантирована», даже в тех случаях, когда протекает по определенным обрядам и правилам, а уж тем более когда происходит спонтанно в ходе беспорядочной «светской» жизни и сопутствующих ей переживаний. Поэтому поэт выбрал самое точное сюжетное решение — завершил роман в тот момент, когда «инициация» может произойти как полный переворот в душе героя, обусловленный отказом Татьяны, — ведь этот отказ означает не только крах всех его надежд, но и крах всего его жизненного мира, всего его предшествующего жизненного пути. По сути, этот крах полностью перечеркивает всю его жизнь и понуждает начать ее заново, уже на совсем других нравственных и мировоззренческих основаниях. В момент отказа Онегин становится «на мертвеца похожий», что соответствует смыслу «инициации» как прохождения через «символическую смерть»; и «как будто громом поражен» —

а это уже соответствует следующей стадии «инициации», на которой, подобно удару грома, человека постигает прозрение иной жизни.

Характерно, что к моменту отказа и жизненного краха в самом Онегине уже вызревают предпосылки для такого духовного переворота, идет глубокая внутренняя работа, не вполне понятная и самому герою. И в этой работе, как отмечает поэт, проступают какие-то очень архаические переживания:

Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны...

Выражение «духовные глаза» — это светский эквивалент церковного выражения «духовные очи», которое обозначает видение скрытой от обычных глаз духовной реальности. Органом этого видения являются не глаза, а душа человека в ее высших и самых тонких проявлениях. Какие «тайные преданья сердечной, темной старины» мог видеть Онегин? Очевидно, это ощущения той более чистой и праведной жизни, которая была завещана предками, но потеряна в пустоте «светской» жизни. И «ни с чем не связанные сны» — это предощущения иной, подлинной жизни и иного образа любви, еще не имеющие конкретных образов. Все это — предпосылки для будущего духовного преображения. Поэт подчеркивает, что на этом этапе страданий от неразделенной любви Онегин не уклонился от пути выпавших ему испытаний на более простой путь:

И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошел с ума.

И в то же время столь трагический для героя конец сюжета у автора вызывает, наоборот, восторг: «Поздравим / Друг друга с берегом. Ура!». Это выглядит очень странно, если не учитывать того конечного духовного смысла жизненного краха Онегина, о котором сказано выше. А в финаль-

ных строках мы также видим нечто весьма странное, не объяснимое с точки зрения привычных законов романного повествования, которое предполагает законченность:

Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

В этих строках поэта можно видеть определенный «шифр», который прочитывается следующим образом. Блажен тот, кто как можно раньше понял тщету «праздника жизни» и начал искать высший смысл бытия; кто оборвал роман с жизнью еще до того, как он оборвется сам; кто сумел расстаться со своим инфантильным состоянием погони за «радостями» и направил жизнь по иным, духовным стезям. И Онегин для Пушкина в конечном счете выступает здесь образом того незрелого человеческого состояния, которое следует преодолеть.

Такова полная содержательная завершенность романа, парадоксальным образом связанная с его внешней сюжетной «незаконченностью». Однако и на уровне внешней сюжетности романа усматривается определенная внутренняя замкнутость, о которой хорошо писал Е. Маймин: «Событийная линия в романе достигает своей кульминации. Но она тут же и обрывается. Фабульный узел Пушкиным намеренно не развязывается. Не развязывается — потому что и это для Пушкина совсем не главное. Интересно, что при внешней незавершенности фабульного построения композиция целого у Пушкина представляется вполне законченной и завершенной. Она завершена в полном соответствии с замыслом, завершена по внутренней своей идее — она завершена и формально. Формальная законченность в композиции достигается параллелизмом ключевых сцен и мотивов, своеобразным кольцом. То, что было в начале, повторяется затем в конце, только с другим поворотом и другим значением: признание в любви — письмо — свидание — отповедь. Подчеркнутая незавершенность в одном сочетается у Пушкина со строгой законченностью в другом. Это у него как сам мир,

как сама человеческая жизнь, открывающая в завершенном незавершенное, в конечном — бесконечное» [6, с. 162]. Эта внутренняя цикличность сюжетной структуры обуславливает уже общий «инициационный» характер романа, суть которого в том, что каждый из основных героев получает в результате плод своих собственных действий, своего выбора, т. е. реализует свою свободу, которая, во-первых, показывает каждому, кто он на самом деле, а во-вторых, заставляет каждого меняться, трансформироваться в соответствии с полученным опытом.

В рамках этой общей «инициационной» структуры романа каждый из основных героев проходит свою «инициацию», но по-разному. Сам Онегин занимает в романе центральное положение еще и в том смысле, что процесс его преображения и самый мучительный, и вместе с тем незавершенный. По одну сторону от него находятся герои, «инициация» которых завершена, по другую — те, для кого она вообще не актуальна. К числу первых относятся Татьяна, ее няня, Ленский и Зарецкий, к числу вторых — все остальные.

Татьяна, «вручая» Онегину свою жизнь и судьбу своим безумно смелым и решительным письмом, тем самым сама бросается в стихию «инициации». Стоит отметить вопиющий контраст с «признанием» влюбленного Онегина в финальной сцене романа, на который обратил внимание Д. Благый: «Татьяна в своем девическом “послание” Онегину доверчиво и прямо отдавала ему себя на всю жизнь. А что он — теперь в свою очередь влюбленный — может предложить ей? “Соблазнительную” тайную связь, светский адюльтер? Какая это действительно “малость”!» [2, с. 195]. Вот именно этот разительный контраст и дает понимание того, почему Татьяна, продолжая его любить, дает решительный отказ. Явная «инициация» состояла и в том, почему Татьяна так стремительно полюбила Онегина, а не кого-то другого: он был для нее «не от мира сего», если иметь в виду тот мир сельской усадьбы и соседей-помещиков, в котором она выросла. Она и сама такая, поскольку «в семье своей родной / Казалась девочкой чужой». Но эта ее высокая странность в полной мере проявится и разовьется уже в Москве, когда она повзрослеет и станет «звездой» балов и салонов. Но здесь ее влюбленность в «странного соседа» была буквально «прыжком в пропасть», «выбором между жизнью и смертью», поскольку иначе ее ждала бы «мертвая» жизнь, примеры которой Пушкин дал в образах ее родственников и соседей.

Важно иметь в виду, что написание любовного письма в ту пору было для провинции делом почти неслыханным — за пределами столиц дворянство жило еще вполне по обычаям «миллой старины», и невест обычно сватали без их ведома. Если бы такое письмо написал мужчина, это еще как-то поняли бы, но письмо от «девицы», если бы о нем все узнали, сочли бы чем-то абсолютно неприличным и постыдным, что очень осложнило бы ее судьбу. И этот столь отчаянный «прыжок в пропасть» также стал ее жизненной «инициацией». Здесь в сюжете романа Пушкин создает гениальный эпизод с няней, который точно соответствует структуре «инициации», где всегда есть наставник, помогающий пройти испытания, передавая свой опыт. Вот опыт, который услышала Татьяна:

— И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слышали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь. —
«Да как же ты венчалась, няня?»
— Так, видно, Бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели
Да с пеньем в церковь повели...

Эта строфа, столь восхитившая В.Г. Белинского своей «народностью» по духу, имеет и более глубокий универсальный смысл: *это модель всей жизни как нравственного подвига и самопожертвования ради своих близких, как смиренное исполнение воли Божией и несение своего жизненного креста без сожаления, но, наоборот, с достоинством и честью.* Для современного человека, возможно, все это трудно разглядеть в описанной ситуации крестьянской свадьбы, и он увидит здесь только лишь «дикие нравы» — но это слепота, которой не нужно доверять. На самом деле здесь

присутствует именно такой смысл, и именно он понятен и близок Татьяне — в этом не стоит сомневаться не только потому, что Татьяна была воспитана няней и неизбежно заимствовала от нее глубокие черты своего характера, но и видя ее собственную дальнейшую судьбу. В нравственном отношении между судьбой Татьяны и судьбой ее крестьянской няни нет никакой разницы — это один и тот же женский жизненный подвиг, различающийся лишь по своей сословной форме выражения, но не по своему существу.

Татьяна в точности повторила модель жизненного подвига, который с детства бессознательно переняла от няни (поэтому она и «русская душою»), а в решающий момент жизни услышала, а затем и повторила его наиболее тяжелый и трагический аспект. Обратной стороной этого обстоятельства является то, что для нее абсолютно необходим и такой же «симметричный» жизненный подвиг того, кого она полюбила. Как точно отметил Н. Скотов, «Татьяна именно должна была полюбить и полюбила человека ищущего, но не могла пойти и не пошла за ненашедшим» [12, с. 185]. Характерно, что главный страх ее, боязнь ошибиться в Онегине выразились в вопросе: «Уж не пародия ли он?» Самое страшное для нее — если он окажется «ненастоящим». Нет, Онегин, в отличие от нее, презирал романы и поэтому никак не мог быть подражателем их героев. Но он мог быть «пародией» в более глубоком смысле — как *несостоявшийся* человек. И этот вопрос — главный вопрос романа — может быть разрешен только за его пределами, в последующей судьбе героя, которую автор оставляет открытой.

«Инициация» Татьяны разделена во времени на три события — вторым стал брак с генералом, а третьим — отказ Онегину. Все три являются осуществлениями той нравственной «народной» модели жизни, о которой сказано выше.

Как это ни парадоксально на первый взгляд, но такую же модель жизни реализовал и Ленский — своей беззаветной любовью к очень посредственной девушке, совершенно не соответствующей его «возвышенной» душе, и своей героической и безрассудной смертью за нее. Удивительно и отношение автора к его поэтическим занятиям: иронически изображая их как явную графоманию, Пушкин почему-то вдохновенно пишет о его возможном великом будущем как поэта: «Его умолкнувшая лира / Гремучий, непрерывный звон / В веках поднять могла». Что это значит? Разве может так легко переродиться почти графоман? Да, может, и история литературы

являет нам достаточно тому примеров, хотя обыденное мнение привыкло судить наоборот. Суть в том, что Пушкин опытно знает и поэтому надежно верит в *творческое преображение любого человека!*

Характерно и то, что Ленский в своих стихах воспел то состояние души, которого он сам никогда не переживал, но которое в полной мере переживал Онегин: «Он пел поблеклый жизни цвет / Без малого в осьмнадцать лет». Эта, казалось бы, комичная претенциозность и мечтательность, обычно свойственная подросткам, на самом деле по-своему показывает «пророческую» суть поэзии, ее способность выходить за пределы индивидуальной души. Но в случае угасания этой *преображающей душу мечтательности*, его ждал иной вариант жизни:

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.

И вот судьба, не желая рисковать, избегая риска именно такого «удела», дала поэту именно то, о чем так страстно, но неумело пел — героическую, вполне романтическую без всяких кавычек гибель за честь любимой на дуэли. Это была его подлинная «инициация», за которую он заплатил жизнью.

Наконец, есть в романе и еще один тип «инициации», возможно, наиболее массовый и типичный в социальном отношении. Он показан в судьбе, казалось бы, эпизодического, но весьма важного для структуры романа героя — Зарецкого. Этот в прошлом озорной ухарь, резко изменился с возрастом:

...удалость
(Как сон любви, другая шалость)
Проходит с юностью живой.
Как я сказал, Зарецкий мой,
Под сень черемух и акаций
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец...

Пушкин очень иронично обыгрывает даже и его героизм 1812 г.: «...с коня калмыцкого сваясь, / Как зюзя пьяный, и французам / Достался в плен». Здесь та же «онегинская» ситуация расставания с инфантильной юностью, особый ее вариант. Зарецкий прошел свою «инициацию» жизнью, стал по-своему мудр, но это отнюдь не воспрепятствовало его соучастию в гибели Ленского. Он мог бы умело «помирить друзей», как делал это раньше, но почему-то не стал. В этом — пушкинский символ ущербности всякой «житейской мудрости»...

Иные герои романа эпизодичны, мы не видим их внутренней жизни и поэтому не знаем, какие трансформации с ними происходили. Но есть в романе ряд символов «мертвенного» состояния душ, скрывающегося под их внешней бурной деятельностью. Среди них, например, ироничный образ декабристов:

И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Все это было только скука,
Безделье молодых умов...

К этому же типу относятся и образы пиров, балов и т. д. — все они, являя «тщету бытия», усиливают порыв к духовному преображению жизни.

Императив духовного преображения жизни определяет поэтику романа в целом. Ю. Лотман в специальном теоретическом анализе «Евгения Онегина» в главе «Проблема “точки зрения” в романе» делает вывод о том, что «стремление раскрыть жизненное содержание романтических выражений, столкнув их с “прозой” действительности, — один из распространенных приемов пушкинского романа. При этом особенно ясно он проявляется там, где авторский стиль формируется в противопоставлении системе литературно-условных выражений. Так возникает текст, состоящий из парно соотнесенных кусков, причем один из фрагментов — “простой” — выступает в качестве значения другого, обнажая его литературную условность» [5, с. 420–421]. Снятие «литературной условности» и превращение романа в часть жизни составляет ту «тайну» воздействия романа на читателя, которая долгое время оставалась не разгаданной. Но в наше время она становится все более понятной. Как отмечает Ю. Чумаков, «ситуация рома-

на, пройдя через несколько незаметных для сознания интеллектуальных операций, уже переведена из поэтического мира стихов в мир жизненных реалий и конфликтов. В результате подобной транспозиции, внутреннего перевода из одной реальности в другую стихотворное осуществление «Онегина» как бы *вычеркивается*, не оставаясь даже фоном» [15, с. 19]. Речь здесь идет о том, что адекватное прочтение «Евгения Онегина» — это не «интерпретация», а *переведение в область жизненной практики*, личного поступка тех духовных перипетий романа, которые в нем самом остались неразрешенными.

А. Ахматова, рассматривая влияние на творчество Пушкина романа Бенжамена Констан «Адольф» как одного из прототипов Онегина, отмечала: «...для Пушкина Адольф был байроническим героем (“Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона”) <...> следовательно, разоблачая и сатирически интерпретируя Адольфа, Пушкин тем самым преодолевал байронизм в своих прозаических опытах так же, как в “Евгении Онегине”» [1, с. 79]. Суть совершенной Пушкиным «революции» образа главного героя состоит в том, что *Онегин является общеевропейским героем, «разоблаченным» на русской «почве»*. Такая трансформация образа не ситуативна, но глубоко укоренена в «архетипах» обеих культур.

Для культурного сознания Запада «архетипическим» сюжетом является «Фауст» — сюжет приобретения могущества за счет компромисса с силами зла. В пушкинских вариациях на сюжет «Фауста» дано очень точное видение этой культурной парадигмы, от которой русский поэт сознательно уклоняется, вместе с тем глубоко пережив ее «изнутри», как свою родную, общеевропейскую. Однако свой собственный духовный путь он ищет и выстраивает совершенно иначе. Для культурного русского сознания «архетипическим» сюжетом является Пушкинский «Пророк» — сюжет преображения человека, достигаемого через духовное «второе рождение» и покаяние. Сам Пушкин как личность воплотил в своей судьбе нелегкий путь самоизменения и духовного преображения. Как пишет В.С. Непомнящий, здесь «перед нами опыт преодоления человеческой драмы не путем изменения внешних условий, но силой любви; опыт свободы, достигаемой не переделкой мира, а переключением внимания со своего “я” на “ты”; опыт обретения полноты “я” путем самоотречения» [7, с. 90].

Н. Скатов написал о «Евгении Онегине»: «...весь роман есть *идеальная формула русской жизни*» [12, с. 183]. Но, по сути, оставил эту «формулу» нерасшифрованной. Исходя из предложенной интерпретации романа, можно дать такое определение этой «формулы»: *«Евгений Онегин» — это роман о крахе всякой непреобразженной жизни и «модель» путей духовного преображения человека в соответствии с христианским идеалом в его народном воплощении.* При этом очень важно понимать, что народный идеал христианской жизни может наиболее адекватно быть передан и воплощен именно в произведении «инициационного» типа, поскольку сутью этого идеала как раз и является непрерывный жизненный и нравственный подвиг, который возможен только для человека, всегда открытого возможности духовного преображения.

В этом контексте становятся понятными и весьма дерзновенные слова В. Непомнящего: «Творчество Пушкина — металитература; типология, которая в нем содержится, есть типология бытийственная (включающая в себя также и искусство); роль его — сверхлитературная. Предназначение его состояло не в том, чтобы определить и предугадать стили, формы и методы, а в том, чтобы предвосхитить и создать большой стиль русской литературы как нравственного подвига, облеченного в слово» [8, с. 319]. Этим определяется, по мысли этого автора, и необходимость «сменить угол зрения, поднять точку обзора, пересмотреть иерархию ценностей в науке, задуматься о ее гуманитарных, то есть человеческих, целях, осознать проблему Пушкина не только как историко-литературную, или эстетическую, или внутрифилологическую и т. д., а как онтологическую и методологическую» [9, с. 214]. Предложенный этим автором парадигмальный «сдвиг» в понимании статуса и Пушкина, и всей русской классической литературы, естественно, составляет отдельный предмет анализа. Тем не менее очевидно, что такое понимание предполагает центральное место «Евгения Онегина» как «модельного» произведения о преображении человека.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие краткие **выводы**.

1) Интерпретация «Евгения Онегина» в рамках «инициационного» подхода позволяет концептуализировать принцип воздействия этого произведения на сознание и миропонимание читателя.

2) «Незавершенность» романа объясняется авторской интенцией на преображение, «второе рождение» героя, что, например, типологически близко окончанию «Преступления и наказания».

3) Типология персонажей романа, построенная в соответствии с их отношением к интенции преображения («инициации»), разворачивается вокруг фигуры главного героя: незавершенность преображения души у Онегина; полная «инициация» в соответствии с народным образцом у Татьяны; трагически-романтическая «инициация» у Ленского; «обыденная», наиболее распространенная и весьма бесплодная «инициация» у Зарецкого; народно-подвижническая «инициация» у няни.

4) Предложенная в статье интерпретация романа соотносится со спецификой русской культуры как «культуры преображения», главная интенция которой состоит в преображении человека в «горизонте» духовного идеала.

Список литературы

- 1 Ахматова А. «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина // *Ахматова А. Собр. соч.*: в 6 т. М.: Эллис Лак, 2002. Т. 6. С. 56–96.
- 2 Благой Д. Мастерство Пушкина. М.: Сов. писатель, 1955. 266 с.
- 3 Даренский В.Ю. Интертекст инициации в структуре литературного произведения // *Интертекстуальность художественного дискурса*: Мат. Всеросс. науч. конф. (г. Астрахань, 20 апреля 2018 г.). Астрахань: Астраханский ун-т, 2018. С. 17–25.
- 4 Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя // *Лотман Ю.М. Пушкин*. СПб.: Искусство, 2003. С. 21–184.
- 5 Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» // *Лотман Ю.М. Пушкин*. СПб.: Искусство, 2003. С. 391–471.
- 6 Маймин Е.А. Пушкин. Жизнь и творчество. М.: Наука, 1982. 208 с.
- 7 Непомнящий В.С. Лирика Пушкина как духовная биография. М.: МГУ, 2001. 240 с.
- 8 Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. М.: Сов. писатель, 1983. 368 с.
- 9 Непомнящий В.С. Пушкин в свете очевидностей // *Новый мир*. 1998. № 6. С. 190–216.
- 10 Платонов А.П. Пушкин и Горький // *Платонов А.П. Цветок на земле: Повести, рассказы, статьи*. М.: Мол. гвардия, 1983. С. 368–390.
- 11 Пропт В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2004. 332 с.
- 12 Скотов Н. Пушкин. Очерк жизни и творчества. Л.: Дет. лит., 1990. 239 с.
- 13 Слонимский А. Мастерство Пушкина. М.: Худож. лит., 1963. 528 с.
- 14 Сурат И.З. «И новый человек ты будешь...» // *Новый мир*. 2009. № 5. С. 152–165.
- 15 Чумаков Ю.Н. Из размышлений о жанре, стилистике и строфике «Евгения Онегина» // *Пушкин: Сборник научных трудов*. М.: Изд. МГУ, 1999. С. 19–29.

- 16 Чумаков Ю.Н. О сюжете «Евгения Онегина» // Пушкинский сборник. М.: Наука, 2005. С. 241–251.

References

- 1 Akhmatova A. "Adol'f' Benzhamena Konstana v tvorchestve Pushkina [*Adolf by Benjamin Constant as reflected in the works of Pushkin*]. *Akhmatova A. Sobranie sochinenii: v 6 t.* [Collected works: in 6 vols.]. Moscow, Ellis Lak Publ., 2002, vol. 6, pp. 56–96. (In Russ.)
- 2 Blagoi D. *Masterstvo Pushkina* [Pushkin's skill]. Moscow, Sov. pisatel' Publ., 1955. 266 p. (In Russ.)
- 3 Darensky V.Iu. Intertekst initsiatsii v strukture literaturnogo proizvedeniia [Initiation as intertext in the structure of a literary work]. *Intertekstual'nost' khudozhestvennogo diskursa: Mat. Vseross. nauch. konf. (g. Astrakhan', 20 apreliia 2018 g.)* [Intertextuality of the literary discourse: conference proceedings (Astrakhan, on April 20, 2018)]. Astrakhan', Astrakhanskii un-t Publ., 2018, pp. 17–25. (In Russ.)
- 4 Lotman Iu.M. Aleksandr Sergeevich Pushkin. Biografiia pisatel'ia [Alexander Pushkin. Biography of the writer]. *Lotman Iu.M. Pushkin*. St. Petersburg, Iskusstvo Publ., 2003, pp. 21–184. (In Russ.)
- 5 Lotman Iu.M. Roman A.S. Pushkina "Evgenii Onegin" [Alexander Pushkin's novel *Eugene Onegin*]. *Lotman Iu.M. Pushkin*. St. Petersburg, Iskusstvo Publ., 2003, pp. 391–471. (In Russ.)
- 6 Maimin E.A. *Pushkin. Zhizn' i tvorchestvo* [Pushkin. Life and work]. Moscow, Nauka Publ., 1982. 208 p. (In Russ.)
- 7 Nepomniashchii B.C. *Lirika Pushkina kak dukhovnaia biografiia* [Pushkin's poems as a spiritual biography]. Moscow, MGU Publ., 2001. 240 p. (In Russ.)
- 8 Nepomniashchii B.C. *Poeziia i sud'ba. Stat'i i zametki o Pushkine* [Poetry and fate. Articles and essays on Pushkin]. Moscow, Sov. pisatel' Publ., 1983. 368 p. (In Russ.)
- 9 Nepomniashchii B.C. Pushkin v svete ochevidnostei [Pushkin in the light of evident facts]. *Novyi mir*, 1998, no 6, pp. 190–216. (In Russ.)
- 10 Platonov A.P. Pushkin i Gor'kii [Pushkin and Gorky]. *Platonov A.P. Tsvetok na zemle: Povesti, rasskazy, stat'i* [Flower on earth: Novels, short stories, articles]. Moscow, Mol. gvardiia Publ., 1983, pp. 368–390. (In Russ.)
- 11 Propp V.Ia. *Istoricheskie korni volshebnoi skazki* [Historical roots of the fairy tale]. Moscow, Labirint Publ., 2004. 332 p. (In Russ.)
- 12 Skatov N. *Pushkin. Ocherk zhizni i tvorchestva* [Pushkin. Account of his life and work]. Leningrad, Det. lit. Publ., 1990. 239 p. (In Russ.)
- 13 Slonimskii A. *Masterstvo Pushkina* [Pushkin's skill]. Moscow, Khudozh. lit. Publ., 1963. 528 p. (In Russ.)
- 14 Surat I.Z. "I novyi chelovek ty budesh'..." ["And a new man you will be..."]. *Novyi mir*, 2009, no 5, pp. 152–165. (In Russ.)

- 15 Chumakov Iu.N. Iz razmyshlenii o zhanre, stilistike i strofike "Evgeniia Onegina" [Reflections on the genre, style, and stanza in *Eugene Onegin*]. *Pushkin: Sbornik nauchnykh trudov* [Pushkin: Collection of scholarly essays]. Moscow, Izd. MGU Publ., 1999, pp. 19–29. (In Russ.)
- 16 Chumakov Iu.N. O siuzhete "Evgeniia Onegina" [On the plot of *Eugene Onegin*]. *Pushkinskii sbornik* [Pushkin collection]. Moscow, Nauka Publ., 2005, pp. 241–251. (In Russ.)